



ОГОНЁК

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА», МОСКВА № 38 СЕНТЯБРЬ 1984



ДУБИНДА Павел Христофорович (р. 12(25).7.1914, с. Прогной, ныне с. Геройское Голопристанского р-на Херсонской обл.), Герой Советского Союза (29.6.1945), кавалер ордена Славы трех степеней (1944, 1944, 1945), гвардии старшина (1945). В ВМФ с 1936-го. Во время Великой Отечественной войны служил на крейсере «Червона Украина» Черноморского флота. После гибели крейсера в ноябре 1941 года направлен в 8-ю отд. бригаду морской пехоты. В июле 1942 года при обороне Севастополя был тяжело контужен и взят в плен. После смелого побега с марта 1944 на службе в рядах Советской Армии. В бою за село Пешинен первым ворвался в траншею пр-ка, в рукопашной схватке уничтожил четырех гитлеровцев и взял в плен офицера. За этот подвиг был удостоен ордена Славы I степени. 13 марта 1945 года во время штурма позиций пр-ка, увлекая за собой бойцов, первым поднялся в атаку и со своим взводом захватил в плен 30 солдат и офицера. 15 марта взвод под командованием Дубинды уничтожил до роты пехоты и захватил 2 пушки. За боевые подвиги и проявленное мужество Дубинде было присвоено звание Героя Советского Союза. В августе 1945 Дубинда демобилизовался и работал боцманом на корабле антарктической китобойной флотилии «Слава»...

«Советская военная энциклопедия», т. 3, стр. 265.



Павел ДУБИНДА

ПОЧТИ ЖИЗНЬ ТОМУ НАЗАД...

1

Родился я на дубке, который носил необычное двойное имя «Друг-братец». Это случилось накануне империалистической войны июльским летом 1914 года. Дубок принадлежал моему отцу — Христофору Гавриловичу Дубинде и представлял собой обычное парусное суденышко, которое могло взять на борт две тысячи пудов груза — тридцать с лишним тонн. Я хорошо помню его по более поздним годам, когда уже мальчишкой ходил под его парусами в Евпаторию, Херсон, Одессу, перевоза соль, арбузы, гравий... Хорошо написал про такие плавания Эдуард Багрицкий:

Пустынное солнце садится в рассол,
И выплхнут месяц волнами...
Свежак задувает!
Наотмашь!
Пошел!
Дубок, шевели парусами!
Густыми барашками море полно,
И трутся арбузы, и в трюме темно...

Только мы тут особой романтики не видели — на хлеб зарабатывали. Христофор Гаврилович был судовладельцем — это если говорить формально. Он же был шкипером, капитаном команды, а матросами и грузчиками с ним ходили мои старшие братья, мать, случалось, и сестры. Детей было десять душ, я родился последним, десятым. Это случилось в море, где-то неподалеку от Очакова. Так что мама — вахтенный матрос — уступила место на палубе одному из старших сыновей, а шкипер — отец — взялся исполнять роль повивальной бабки... На берег, в родную хату меня привезли уже готового...

Когда слышу песню «С чего начинается Родина?..» — вспоминаю желтые, исходящие зноем пески, окруженные водой, островки высоких камышей, тяжелые хлопки парусов, развешенные для просушки рыбацкие сети... Старшего брата не помню. Он воевал в империалистическую, приходил в семнадцатом до-мой, мать говорила, что держал меня на

руках... Потом ушел в Красную Армию и погиб где-то под Каховкой.

Лет с десяти я уже помогал отцу, ходил с разными грузами на том же дубке, на котором родился, а в четырнадцать начал самостоятельную жизнь — нанялся матросом на парусник «Любимец моря». Его водил известный на всем побережье человек Павел Софронович Горбаченко. Это был настоящий, большой учитель. Он штурмовал Зимний в семнадцатом году, не раз слушал выступления В. И. Ленина в Петрограде, а в январе восемнадцатого стал первым председателем ревкома в нашем селе... Потом Павел Софронович воевал на фронтах гражданской и после ее окончания снова вернулся в Прогной...

Не знаю, как у других людей, вспоминающих свое житье-бытье, но моя биография будет непонятной, даже неверной, если не рассказать хоть немного про наше село. Там, где Днепр подходит к Черному морю, образуются широкие лиманы с бесчисленными протоками, косами, островками, где на десятки километров растянулись камышовые заросли с несметными стаями диких уток, гусей, журавлей и прочей живности, есть на Кинбурнской косе многокилометровый участок песчаной пустыни с большими блюдцами озер. Их называют гнилыми, потому что безжизненные, соленые они.

Еще лет триста назад казаки добывали здесь соль, потом возникла паланка Сечи и лишь в начале прошлого века — село Прогной. Оно никогда особенно не разрасталось, потому что условия для жизни были непривычными, а вернее сказать, не было таких условий. На песках ничего не росло, летом — зной, зимой — пронзительные сырые ветры. Пустыня. Когда уже в советские годы организовали первый колхоз, то поля ему выделили в... тридцати километрах от села!

Закреплялись тут люди отчаянные, цепкие, как пустынная колючка. Хаты строили из камыша и глины, работали на соляных промыслах. Каким нечеловеческим испытанием

был этот труд, хорошо описал Максим Горький в рассказе «На соли». Он сам в этих местах работал. Некоторые рыбаки, да пользы от рыбалки выходило немного — где продавать улов, если до ближайшего базарчика на Голый пристани больше сорока километров? Довезти туда улов, беспрестанно перекладывая паруса в узких протоках, — так и сама рыба того не стоит. Отдавали ее за бесценок скупщикам. Большинство же мальчишек нашего села уже лет с пятнадцати, а то и моложе уходило матросами в Херсон, Одессу, Николаев, разбредалось по всему побережью, становились отличными боцманами, шкиперами. В селе немало целых династий знаменитых капитанов, механиков, полярных и антарктических мореходов.

Первым во главе группы матросов ворвался в занятый гитлеровцами Севастополь мой односельчанин К. Г. Висовин. Он погиб 9 мая — за год до Дня Победы — и посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Одним из легендарных защитников острова Ханко был тоже мой земляк Г. Я. Оводовский. Он прославился как командир дивизиона тральщиков, прорывал блокаду Ленинграда, а за блестяще проведенное разминирование Данцигской бухты удостоился звания Героя Советского Союза. Третий мой односельчанин, Н. Г. Танский, командовал подразделением торпедных катеров на Северном флоте, об его мужестве и военной дерзости ходили легенды — его тринадцатой боевой наградой в Великой Отечественной войне стала Золотая Звезда Героя.

Через много лет после войны херсонская областная газета посвятила несколько страниц героям нашего села, многим морским династиям. На эти публикации откликнулся Маршал Советского Союза М. В. Захаров, бывший тогда начальником Генерального штаба наших Вооруженных Сил. Он писал: «Спасибо вам за то, что на вашей земле есть такое село Геройское, есть такие люди, жизнь которых — подвиг, пример для наследования».

Многое можно рассказать и о мирном героизме моих односельчан. Героями Социалистического Труда стали гарпунер китобойной флотилии «Слава» Н. Н. Гниляк и капитан-директор рыболовецкого траулера В. В. Михасько, унаследовавший свою профессию от отца и деда. Я не могу назвать здесь многие десятки известных в стране людей из нашего села, которые отличились в годы революции, гражданской войны, трудное время мирного строительства. А жителей у нас всего-то, как сказал мне председатель сельсовета, шестьсот сорок душ... Это маленькое село в 1963 году переименовали, было Прогной, стало Геройским.

...Ничего особенного не было в том, что и я в четырнадцать лет стал матросом, а в шестнадцать чувствовал себя на воде так же уверенно, как и на берегу. И когда в тридцать шестом меня призвали на службу, определили на прославленный крейсер «Червона Украина» — сразу в боцманскую команду. Крейсер стоял в Севастополе, у заводской стенки, как многоэтажный стальной дом.

Но жили мы на берегу, в экипаже, и каждый день с утра до вечера висели у бортов судна, обивая ржавчину сантиметр за сантиметром. Около года крейсер находился в ремонте. Особых впечатлений действительная служба не оставила: многое было знакомым, даже привычным, разве что жесткий, расписанный по минутам распорядок дня. Но для человека, привыкшего к труду, это не в тягость. Больше всего запомнились занятия спортом...

После обеда подходит катер, раздается команда: «Спортсмены, на тренировку!» Смотришь — один матросик сложил инструменты, другой... А остальные колупают ржавчину, грохочут в стальные борта — невеселое занятие. Мой кореш Юра Давыдов говорит: «Давай и мы запишемся в спортсмены». Вечером подошли к своему физоргу, записались в бегуны. Первое занятие совпало с общим забегом на десять километров. Взяли мы старт... Сначала все шло вроде нормально, а потом чувствуем: тут не легче, чем ржавчину обивать. Дальше Юра говорит: «Отстанем немного, а когда отдохнемся — догоним». Только отставать легче, чем догонять. В общем, последние километры бежали мы на самолюбии, как в обмороке. На следующий день чувствуем, вроде нас сильно побили, все мышцы болят. По трапам еле ползаем, по палубе — и то за леера хватаемся.

Решили, что бег не для нас. А приятелю неймется. Недели через две говорит: «Запишемся на бокс». Записались. До обеда отрабатывали, а потом нас привезли в спортзал, дали перчатки. Тренер показал, какие бывают удары, расставил возле подвешенных мешков, набитых чем-то тяжелым, и велел заниматься. Стучим. Неделю, другую... У тренера свои дела — занимается с опытными, у которых ожидаются соревнования. Через месяц вспомнил о новичках, а нас десятка три было. Подошел на одном из занятий, вытянул руку: «В две шеренги — становись!» Я рядом находился, так и стал возле тренера. «Первая шеренга, два шага вперед! Кру-гом!»

Поворачиваюсь и вижу, что за моей спиной стоял, а теперь он напротив меня — верзила метра два росту. Руки, как оглобли, тельняшка едва локти закрывает. «Как же к нему подойти?» — думаю. А тренер командует: «Бой!» И не успел я набраться духу, мой партнер как двинет меня в скулу. Едва не упал. А он с другой стороны. Выровнял меня. Сам-то я физически не очень, средние, можно сказать, данные... А он меня прямым — в лоб. Я попятился, сел на пол. И такая злость взяла, что все приемы забыл. Вскрываю да по-нашему, по-сельски — под дыхало ему. Он согнулся — уже и до головы достать можно. Мутузили мы друг друга от души. Выдохлись. Я ему носом в грудь уперся, а он меня за руки держит. Подошел тренер, посмотрел... «Молодцы, — говорит, — отлично поработали!»

После занятий гляжу на своего кореша Юру Давыдова — синяк под глазом, губа разбита и рот не на месте, перекошен. А это он, оказывается, так смеется, глядя на мою физиономию. У Давыдова шрам на губе до сих пор остался. Мы с ним иногда видимся,

он в Херсоне живет... Тогда же, в тридцать шестом, решили мы, что бокс тоже не для нас. Однако тренер меня уговорил. Вернулся я в секцию. Большим спортсменом не стал, но навыки, которые получил, очень пригодились в годы войны. В разведке это было, пожалуй, мое первое оружие.

Когда крейсер вышел из ремонта, назначили меня старшиной катера, а чин имел старшего матроса. Сутки дежурю со своей командой — кого на берег отвезти, кого с берега, а следующие сутки на палубе — в распоряжении главного боцмана. Тоже скучать не приходилось. Отрабатывали всякие действия на случай боя, пожара, возможных повреждений судна, ходили на БОУ — боевые отрядные учения, вели учебные стрельбы. В то время осваивали новое оружие — торпеду. Штука была, очевидно, дорогая, и после каждого выстрела я со своей командой должен был ее вылавливать и возвращать на судно. Боевого заряда в ней, конечно, не было. Один раз торпедисты что-то не рассчитали, и она выскочила на евпаторийский пляж, надела немало шума среди купающихся.

Годами нелегкой службы возникла матросская закалка, привилась железная дисциплина, которая поддерживалась совсем не страхом перед наказанием, а боязнью подвести товарища, вызвать неудовольствие любимого командира. Я несколько не преувеличиваю. Главным воспитательным средством была добрая матросская «подначка». Не дай бог, если в твоём поведении товарищи увидят боязнь, жадность, скрытое желание что-то выгадать для себя... Одно ироничное замечание, острого словца, брошенного как бы между прочим, было достаточно, чтобы провинившийся умер от стыда и снова воскрес уже другим человеком...

Хорошо помню первый день войны, вернее, первую ночь, в Севастополе. Вечером 21 июня, в субботу, я заступил на вахту. Работы было много: половина личного состава крейсера получила увольнение на берег. Корабль стоял на рейде, и моему катеру пришлось не раз ходить от борта к пристани, отвозя матросов и офицеров.

К 23.00, когда кончался срок увольнения для матросов, я уже всех переправил на корабль. Офицерам разрешалось остаться в городе до утра. Вахтенный мне сказал, что к 1.00 надо подойти к причалу III Интернационала и забрать обход. В ту ночь матросы нашего крейсера дежурили в городе. Я командовал ребятам отдавать концы, отчалил от высокого борта «Червоной Украины» и пошел в город. Пересекли бухту и вышли к набережной чуть раньше положенного. Оно понятно — последний рейс...

Стоим у причала, ждем наших с обхода. И вдруг бежит к нам человек, в ночном городе гулко раздается топот сапог. И к нам: «Кто старший?» «Старшина катера Дубинда», — отвечаю. «Заводи, — говорит, — свою фелюгу и перебрось меня через Северную бухту. Срочно!» Я поясняю, что жду своих людей из обхода. «Ты что, — спрашивает, — устав не знаешь? Выполняй последнее приказание старшего!» И сует мне под нос офицерское удостоверение личности. Летчик, из начальства. Не помню уже, в каком чине. «Над Качей, — говорит, — несколько минут назад наши сбили чужой самолет. Еще неизвестно, чей он. Мне надо быть там немедленно». А в Каче тогда были аэродромы и прославленная школа летчиков. Ну, я его на борт и пошел через бухту. Он выпрыгнул, едва мы приблизились к причалу. И швартоваться не пришлось.

Возвращаемся — наши из обхода уже стоят на набережной. Забрали их и пошли. Вдруг над нашими головами прожекторы расписали все небо полосами. Один из лучей высветил самолет — не высоко, над бухтой, и скорость не очень большая. Тут и другие прожекторы скрестили на нем свои лучи, ведут его по небу прямо на Севастополь. Тихо вокруг, лишь самолет рокочет. Вдруг отделяется от него что-то, раскрывается парашют, ветерок несет его на город, а прожекторы сопровождают чуть ли не до самой земли. Опускается парашют на одну из улиц, и мы видим багровую вспышку вполнеба, а потом доносится страшный взрыв. На парашюте была сброшена магнитная мина.

Когда мы подошли к кораблю, вдоль борта

выстроились вестовые, готовые бежать в город, разыскивать офицеров, отпущенных до утра. Высадили обход, забрали вестовых... Часам к трем ночи вся команда была на борту. А утром из выступления В. М. Молотова мы узнали, что началась война.

В первые месяцы войны в Севастополе было относительно спокойно. Атаковать его с моря враг не решался, налеты авиации отражали корабельные и береговые зенитки. Мы патрулировали на улицах. Во время воздушной тревоги для нас начиналась работа: в городе оказались вражеские лазутчики, которые подавали сигналы фашистским самолетам. Был приказ — стрелять по огням после объявления воздушной тревоги.

В конце августа — начале сентября все с напряжением следили за боями под Одессой. На помощь ей ушли некоторые суда. Особенно сложное положение создалось, когда противник прорвался к перешейку между Куяльницким лиманом и побережьем, установил там тяжелую артиллерию. Она терроризировала город и вела огонь по кораблям, которые подходили к Одесскому порту.

К тому времени наш катер вместе с командой перебросили на крейсер «Красный Крым». Готовилась большая операция. В ночь на 22 сентября отряд кораблей — два крейсера и два эсминца — покинул Севастополь. Командир отряда контр-адмирал С. Г. Горшков вдруг вызвал к себе всех старшин катеров, и меня в том числе. Выстроились мы — человек до двадцати набралось. Он прошелся перед строем — молодой, крепкий, тридцатилетний контр-адмирал! Если учесть, что у нас была кичливая поговорка «Морской кок выше сухопутного полковника», — можно понять, с каким восхищением смотрели мы на командира. Позже мне довелось на собственной шкуре испытать те немислимые тяготы, что легли на плечи пехоты, однако морские амбиции моих товарищей были только на пользу общему делу.

Контр-адмирал рассказал нам о сложившейся под Одессой обстановке, о том, что мы должны высадить в районе Григорьевки десант, цель которого — захватить артиллерийские позиции врага возле Дофиновки. Сказал несколько слов о нашей особой ответственности и спросил:

— Есть вопросы?

— Разрешите! — вырвалось у меня.

— Слушаю.

— Я хочу пойти первым.

Он с интересом посмотрел на меня и спросил, с чего это вдруг я добиваюсь такой чести. Стараясь быть кратким, объяснил:

— Я до службы ходил тут на парусниках... Восемь лет. Каждый камень на берегу знаю.

— Хорошо, — сказал он, — пойдешь один с передовым отрядом. По твоему сигналу, если высадка пройдет благополучно, отправится весь десант.

Около часу ночи мы вышли на траверз Григорьевки напротив Аджалькского лимана. К мне в катер погрузились 82 человека во главе с капитан-лейтенантом, и мы отчалили. Корабли открыли сильный огонь по вражеским позициям на берегу. Снаряды обгоняли нас. Сам маневр для меня сложности не представлял, даже в полной темноте нашел бы, где причалить, а тут такой фейерверк. Шли на большой скорости. Ближе к берегу стали стрелять и по нам. Один снаряд взорвался почти под катером, на береговой отмели, подняв и обрушив на нас стену грязи. С ходу выскочили днищем на отлогий берег. Десантники, закусив кончики лент бескозырок, валились с бортов — и в темноту... Тут же даю задний ход — и ни с места. Слишком далеко выскочил на песок. Кричу капитан-лейтенанту (он спрыгнул первым и наблюдал за высадкой), чтобы вернул десяток братишек... Вернулись, столкнули катер на воду, и тогда я выстрелил в небо зеленой ракетой. Это означало, что передовой отряд высадился успешно, можно бросать основные силы.

Когда возвращался, навстречу мчались катера, неся на себе около двух тысяч десантников. Используя их успех, из Одессы начали наступление войска Приморской армии. Противник отступил, потеряв много солдат и около 50 орудий и минометов... В «Советской военной энциклопедии» сказано, что «этот контрудар явился первым примером успешного

взаимодействия сухопутных войск с морским десантом и авиацией флота на Черном море в годы Великой Отечественной войны».

Когда мы вернулись к борту «Красного Крыма», мне вахтенный командует:

— Дубинда, тебе приказано вернуться к берегу, подобрать раненых и идти в Одессу, к Фонтанскому маяку.

В Одессе приказ: нашему катеру идти на Кинбурнскую косу. Туда, в безнадежный для сухопутного человека тупик, вышла одна из наших отступающих частей. Пришлось перевозить солдат несколькими рейсами на Тендровскую косу, а позже — снимать с Тендровской косы группу подрывников... Все эти походы и переходы вдоль занятого врагом побережья, под обстрелом, на нерве. Использовали темное время суток, пускались на всякие хитрости.

Да и в самом Севастополе у моряков много было хлопот. Корабельная артиллерия вела огонь по наступающим гитлеровцам, отбивала вражеские атаки с воздуха. Тонная бомба попала в наш крейсер «Червона Украина», когда он стоял у причала, прямо в левые машины. Едва начались аварийные работы (я был в аварийной команде), одни кинулись тушить пожар, другие убирать убитых и раненых, как вторая бомба — стервятник успел сделать второй заход — упала в воду рядом с бортом, по центру корабля. У пристани было мелко, и взрыв огромной силы переломил крейсер надвое. Кормовая часть села днищем на грунт... Несколько дней мы снимали с него орудия, переправляли их на позиции защитников города. Но однажды ночью эта часть корабля с находившимися во внутренних помещениях ребятами из аварийной команды опрокинулась. Почти все, кто там был, погибли.

Меня зачислили в 8-ю бригаду морской пехоты, которая вела тяжелые бои на Мекензиевых горах. Стал артиллеристом. В этом деле я, конечно, мало что понимал, был одним из номеров — подносил снаряды, заряжал. Работал как все. Люди погибали, приходилось на ходу заменять разные номера. Из этих боев я многого не помню, потому

что весной, когда меня отозвали в аварийную бригаду, был тяжело контужен. Это случилось на Северной стороне, мина тяжелого калибра вздыбила совсем рядом со мной стену земли и осколков, а меня достала «только» взрывная волна... Я потерял речь, оглох, и многое навсегда стерлось в памяти.

Корешу ухаживали за мной, делали все, что могли в тех условиях, но в транспорт, который увозил раненых, я так и не попал. Когда фашисты ворвались в город, товарищи помогали мне идти, а где и просто тащили, отступая в Камышовую бухту. Тысячи и тысячи последних защитников города, уже без тяжелого оружия, с одним патроном на двоих, оберегая раненых, а их было очень много, все надеялись, что придут транспорты, вывезут... Но корабли так и не смогли к нам прорваться, а подводные лодки (сколько их там было?) вывезли разве что одного из сотни. Мы не бежали из города, а, согласно приказу, уходили в места, где ни укрыться, ни организовать оборону...

Почему это вспомнилось: вскоре после войны, когда я пришел домой со Звездой Героя и орденами Славы, в нашем Голопристанском райкоме один товарищ заявил на бюро, что там, в Камышовой бухте, я обязан был застрелиться. А поскольку не сделал этого, попал в плен — значит, не имею права быть в партии. Суть этого человека я понял — он вскоре проворовался. Непонятно другое: почему тогда не нашлось в бюро такого, кто возразил бы ему?..

На нас, беспомощную толпу, вышли немецкие танки... О той трагедии в Камышовой, Казачьей бухтах, на мысе Херсонесе когда-нибудь напишут. Меня спасло то, что был в рабочей робе аварийной бригады, а не в морской форме. С моряками, особенно севастопольцами, гитлеровцы расправлялись изощренно жестоко. Многие матросы, как бы предчувствуя такое, заходили в воду и стрелялись.

Литературная запись
Станислава КАЛИНИЧЕВА

Продолжение следует.

ЗНАК ЕДИНЕНИЯ

Привлекательно, когда в обычных житейских ситуациях прозаик находит «предмет» для размышлений, из простых, незамысловатых историй извлекает нравственный урок. Герои книги орловского писателя Н. Перовского «Дорога к дому» — сельский художник, получивший на областном конкурсе первую премию; и «новоиспеченный» кандидат наук, женившийся на дочери своего начальника и потому сделавший карьеру; бывалый механизатор Евдонимыч, тридцать лет проработавший на тракторе; и неудавшийся артист Федька Филиппов, не сумевший ответить на приемных экзаменах во ВГИК на вопрос о Чарли Чаплине. Почти все, что населяет книгу, — это вчерашние деревенские жители, ставшие по той или иной причине горожанами. Ну вот, подумает читатель, — очередная постановка поднадоевшей уже проблемы города и села. Но повести и рассказы Н. Перовского и о другом — «знаке единения», о «памяти и преемственности», о «всеобщей связи» между людьми. Потому что «человек — не древесный листок, лишенный разума». Не претендуя на обобщения, рассказы Перовского искренни; они написаны человеком неравнодушным, стремящимся постичь суть характеров и «связь времен», внимательным к человеку — нашему современнику. ...Подполковник Василий Бочкарев едет в родную деревню навестить старушку-мать. Путь был длинный, но вот «как бы выросли из земли сироты соломы, лесополосы... Это его земля. Его дорога к дому». Воспоминания окутали героя повести, пробудили память: школа, работа на комбайне, смерть

Николай Перовский. Дорога к дому. Приокское книжное издательство. Тула, 1983. 176 стр.

среди книг

отца, первая любовь, война. «Постепенно все войны века, — думает Бочкарев, — сольются как бы в одну. Что же будут думать о нашем времени люди следующего тысячелетия? Воевали, скажут... Пронятые войны не дают деревне встать на ноги...»

Повесть «Дорога к дому» пронизана любовью к матери, неодолимым желанием увидеть ее еще раз. Василий кинулся к матери, подхватил ее на руки и понес в дом, радуясь, что в ней нет еще старушечьей легкости и что она еще поживет. А может быть, и он, подполковник Бочкарев, сумеет остаться здесь, в родных местах, навсегда.

Рассказ «Евдонимыч» занимает всего четыре страницы, но на них автор создает образ человека незаурядного, отличающегося своим философским подходом к жизни. «Такие люди, как Евдонимыч, не станут выкладывать непроваренные мысли, а только если что-то дошло, уложилось», — говорит автор.

Как проследить путь этого человека от размышлений о земле до мыслей о звездах, спрашивает автор. И отвечает мыслью Евдонимыча, которая опять же родилась в нем как открытие, открытие: смерть еще не предел. Потому что есть «память о человеке и всеобщая связь». В рассказах писателя есть внутренняя завершенность и в то же время простор для размышлений читателя, вера в его сотворчество.

Не все произведения Н. Перовского равноценны. Но поиски психологизма, лирической утонченности письма, к которым стремится автор, раскрывая характеры своих героев, вполне оправданы и привлекают в первой прозаической книге поэта.

Ф. ПОКРОВСКИЙ



Борис ДУБРОВИН

Стены зубчатой древние узоры,
Бойницы в ней — глазами веков,
Соборов позолоченные горы,
Над башней —
Пашня рыхлых облаков.
Рассветная развевалась алость,
Выхватывала Спасскую из мглы.
И россиянам башня представлялась
Точным наконечником стрелы...
А мне
В рассветной вечной позолоте,
В предчувствии штурмуемых высот
Ступенчатой ракетой в полете
Отточенная башня предстает.
Куранты бьют, как отзвуки капли.
И к шпилье прикоснулись небеса.
На эту башню Спасскую смотрели
Столетия
И Гагарина глаза.

Земля, над тобою тучнели вороны,
Ложала ты, раны страшней, —
Немая, оглохшая,
В звах воронок,
В надорванных шрамах траншей.
Земля, низвергались бетонные кровли,
В обломках
Живущих губя,
И ливни родной, человеческой крови
Насквозь пропитали тебя.
Земля, даже душу тебе опалило,
И сколько сгорело дотла.
Каких космонавтов, каких исполинов
Война в колыбели сожгла.
И думалось:
Счастья тебе не дожидаться —
Такое творили бои,
Что, верно, должны бы седыми родиться
Тревожные дети твои.
Но буря страданий, слепящая болью,
Не сделала душу седой.
Но Юрий Гагарин над глобусом в школе
Встаёт,
Освещенный мечтой.
Но ливень поет по лугам и по взгорьям,
С травинками силу деля...
Засеяна смертью,
Отчаяньем,
Горем,
Ты радостью всходишь,
Земля!

На плоскость Юрий вышел
Первым,
На миг помедлил на крыле...
И сердце здесь секундомером
Вело отсчет в пути к земле.
Но вот она почти что рядом.
И пашня с цифрами грачей
Лежит огромным циферблатом,
Вся в стрелках солнечных лучей.

Фрагменты поэмы.



 **ОГОНЁК**
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА № 39 СЕНТЯБРЬ 1984

ПОЧТИ ЖИЗНЬ ТОМУ НАЗАД...

Павел ДУБИНДА,
Герой Советского Союза,
полный кавалер ордена Славы

Колонну военнопленных пригнали в Симферополь. Ребята меня буквально доволокли. Говорил я еще плохо, но уже слышал. Лагерь для военнопленных представлял собой большую площадку, которую пересекал ручей, огороженная из колючей проволоки, по углам — вышки с пулеметами. Внутри известкой были размечены двухметровой ширины полосы, которые пересекались, разделяли площадку на более мелкие квадраты. Люди стояли и сидели в квадратах, как на шахматной доске, не имея права ступить за отмеченную известкой черту. Для нашей кормежки привозили какую-то дрянь, тут же из ручья брали воду и делали болтушку. Сырую, конечно. Преимущество было у того, кто имел котелок, а у кого не было — хоть пригоршню подставляй. Я, к счастью, отыскал совершенно сплюснутую консервную банку и за день кропотливой работы с помощью двух камешков сделал из нее подобие миски.

Скученность была ужасная. Находишься под открытым небом, а лечь, вытянуться невозможно, если кто-то вылезет за белую черту, может поплатиться жизнью. Гитлеровцы были мастерами на такого рода выдумки. Помню, однажды на дорожку, очерченную белыми полосами, вышел немецкий офицер в сопровождении нескольких «шестерок» — полицейских из охраны. Красивый мужчина, ничего не скажешь! Высокий, стройный, лицо суровое, открытое, и взгляд такой, что прошивает тебя до самого донышка. Расхаживает он между квадратами и говорит:

— Кто из вас выдаст коммуниста или еврея, тот свободно выйдет отсюда с необходимыми документами и может ехать домой. Если ваш дом еще на территории большевиков — ждать осталось недолго, наши войска уже подошли к Волге.

Ходит между квадратами, всматривается в наши лица, повторяет на все лады свои условия. И вдруг крик: «Я! Я покажу!» Выбирается на дорожку такой... даже сказать затрудняюсь, просто никакой человек, то есть ничем не приметный, и говорит, что видел где-то тут в лагере писаря из своей роты, который, по его сведениям, еврей.

Стали искать. Долго искали в квадратах — нашли. И вся свита удалилась. А часа через два приходят, и офицер заявляет всем:

— Германии нужны те, кто ей служит верно. Победителей нельзя обманывать. А этот человек, — он показал на предателя, — обманул нас.

Дает в руки тому, которого выдали, дубинку и говорит:

— Бей его. Он хотел отправить тебя на виселицу, чтобы вырваться из лагеря и вредить Германии.

А выданный, который уже мог бы болтаться на веревке, стоит с чужой дубинкой в руках и не решается.

— Бей, — говорит этот породистый офицер, — а то я отдам дубинку ему. Уж он тебя жалеть не станет.

Ну тот и давай молотить предателя своего, пока он не упал на дорожке. К нему никто не прикасался, ни наши, ни немцы — там и умер дня через два.

Потом этот же офицер выискивал тех, кто знает подходы к Новороссийску, кто смог бы дать подробные пояснения к военным кар-

там. Среди тысяч пленных нашлись и такие. Их увели, а через несколько часов, изрядно помятых, привели назад и рассовали по квадратам (где им еще и свои добавили). Оказывается, они не знали того, что было необходимо гитлеровцам.

...Я никогда бы не стал вспоминать эти тяжелые, унижительные сцены, где рядом с истинной трагедией разыгрывалась своего рода дешевка — горькая и грязная. Но тут все связано с красавцем офицером. (Не знаю, возможно, что, с точки зрения женщины, он и не был идеальной наружности, потому что меньше всего походил на прилизанного красавчика, но, с моей точки зрения, это был редкостный экземпляр властного и сильного мужчины.) Тогда я скорее поверил бы в близкий конец света, чем в то, что через два с половиной года снова лицом к лицу встречу с немецким офицером из симферопольского лагеря, и не где-нибудь, а в Москве, неподалеку от Арбатской площади.

Но до новой встречи с ним произошло столько невероятных событий, что их хватило бы не на одну жизнь.

II

Большую группу военнопленных перевели из симферопольского лагеря в Николаев. Гитлеровцы пытались наладить работу судостроительного завода. Мы растаскивали развалины, покореженные бомбами фермы цехов. Ни я, ни ребята из моей команды и виду не подавали, что хорошо знакомы с морем, с аварийными судовыми работами. А потому таскали мусор, ходили на погрузку материалов. Меня устроили при кухне: дров нарубить, печь растопить, котлы почистить. Я еще не совсем отошел от контузии.

Поварихой была тетя Дуся Часовская — вольнонаемная, не из пленных. Она варила нам баланду, переживала с нами все невзгоды и старалась помогать, чем могла. Рядом с нею работала Мария Фролова. Женщины решили помочь мне вырваться из плена... Для этого надо было, чтобы я хоть немного окреп. Когда это произошло, они раздобыли мне документы на имя Семенкина Ивана Петровича, уроженца города Николаева, который работает в одной из организаций, разрешенных германским командованием... Документ был надежный, но как выйти за пределы лагеря? Больше года пробыл я в нем и многое успел повидать, многому успел научиться... Охрана тут следила строго и нарушителей режима сразу расстреливала. В начале 1944 года меня познакомили с шофером, который имел право въезда на территорию лагеря, — Димой Куликовым. Он оказался подпольщиком и однажды вывез меня на своей машине в город.

Тетя Дуся жила возле элеватора, и первое время после побега я скрывался у нее, присматривался к тому, что происходит в порту, какие ходят суда, кто их водит... Однажды я сказал своим спасителям: «Пора!» — и понесло меня, как в сказке или в приключенческом кино. Прежде всего еще по дороге к порту дважды останавливали патрули, проверяли документы, но удостоверение Ивана Петровича срабатывало без осечки.

План был такой: устроиться на судно, и когда оно окажется в устье Днепра на выходе в море (а такое рано или поздно должно было случиться, суда регулярно ходили в

Очаков, Одессу и устье Дуная), украсть лодку и бежать по знакомым с детства плавням.

Подхожу к порту и вижу, что у причала стоит баржа. С нее прямо с борта на причальную стоянку выпрыгивает здоровый мужчина с двумя чемоданами.

— Эй, браток, — говорю я ему, — где старшина этой посудины?

— Я старшина, — отвечает, — чего тебе надо?

А я вижу, баржа ошвартовалась с верховой, наверняка будет идти к морю.

— Можно с вами до Очакова добраться?

— Пассажиров не берем.

— А я помогать буду.

— Умеешь?

— Умею...

Он тогда ставит чемоданы на землю, вытаскивает из кармана связку ключей и бросает их мне:

— На ключи. Это от кубрика, рундучка... Разберешься. Если хочешь есть — там найдешь. Можешь брать сигареты, пиво... Я сейчас вернусь.

Спрыгнул я на борт баржи, первым делом обошел ее всю, хозяйским глазом осмотрел помещения. Заглянул в трюм — там полно цветного металлолома. В Румынию тащат. Но вот досада — ни шлюпки, ни даже ялика нету на борту! Вылез на палубу — подходит к причалу какой-то человек.

— Возьми, — просит, — до Очакова.

— Садись, — отвечаю. Ведь полчаса назад точно так же сам просился. Но об этом молчу.

Навалились мы вдвоем на припасы, оставленные настоящим хозяином, а потом стали ждать его. Долго бы ждали. Не знал я, что он с чемоданами попросту сбежал, оставив меня как подсадную утку... Подъезжает машина, из нее выбираются военные, я насчитал восемнадцать человек, в основном офицеры, и с ними четыре женщины. Все перебираются на мою баржу. Ну, думаю, влип! Однако виду не подаю. Заглядывают ко мне в рубку. Напускаю на себя строгость и показываю, чтобы все шли в носовой кубрик и не мешали. Послушались, ушли. Затаился я — все еще жду настоящего хозяина. Вижу — бежит к нам буксирный катер. Подбирается прямо к борту, и какой-то чужак с катера спрашивает у меня:

— Трос буксирный есть?

— Нету, — отвечаю, потому что успел проверить.

— Тогда, — говорит, — я свой перекину. Закрепи. Сначала пойдешь на коротком, а за Балабановской косой вытравим подлиннее. Цепляют нашу баржу — ту-ту! — и поехали. Я занимаю свое место на руле, вроде бы так все и надо. Идем мы вниз по Бугскому лиману, к морю идем. Войки в кубрике развлекаются, нас не трогают.

— Вы давно на барже работаете? — спрашивает мой приبلудный пассажир.

— Чуть раньше тебя оформился, — отвечаю.

— А сколько получаете? — допытывается он.

— Когда немцы узнают, кто мы такие, — одинаково получим.

Меня еще не так просто разоблачить, я на барже, как дома, а его же видно, что случайный тут. Бежит наш буксир, пытит, уже скоро Бугский лиман закончится. В то время, в марте сорок четвертого, наши в низовьях Днепра уже стояли на левом берегу, а правый берег — Херсон, Очаков — был в руках немцев.

— Как выйдем в Днепровский лиман, — говорю я своему пассажиру, — так наши стрелять начнут. Надо воспользоваться суматохой и улизнуть. Жаль, что лодки нет на барже, но я трап приготовил. Спихнем в воду и доплывем на нем...

Стемнело. Стали мы подходить к Аджигойской косе — прожектор с левого берега полоснул по нашему буксиру. Потом еще два прожектора уперлись в него, начался оружейный обстрел. Должно быть, снарядам перебили буксирный трос. Катер — пых-пых! — бросил нас и бегом к Очакову. (Его наши уже перед Очаковом потопили.) А про баржу вроде бы и забыли. Немцы вылезли из кубрика злые, перепуганные, всматриваются в темноту. А что смотреть? Кругом вода и никакого движения.

Но и нам с пассажиром бежать нельзя. Часов около трех ночи пришел из Николаева другой буксир и оттащил нас в Очаков. А там полно румын и немцев.

Ошвартовались мы у стенки. Днем пришел какой-то чиновник, сказал, что завтра или даже сегодня ночью, если будет буксирный катер, потащат нас в устье Дуная. Мне это уже совсем ни к чему. Присматриваюсь. Вижу, рядом баржа и на ней шлюпка. Я — туда. Познакомился с боцманом. Худосочный такой, пугливый. «Продай шлюпку!» — прошу. Бойся. «Немцы узнают, тут же утопят». Тогда предлагаю: «Бежим вместе!» Мнется, говорит, что у него недавно родился ребенок, жена тут же, на барже, и вообще деваться ему некуда, куда повезут, туда и повезут... Осерчал я.

— Дуб,— говорю,— ты мореный. Если ты здесь не очень нужен, то там, в чужом краю, и подавно. Ведь к черту в пасть везут тебя. А ну веди к своей жинке, хочу с нею поговорить.

Женщина всего боится, у нее дите грудное, она даже смотрит мимо, вроде смотреть на меня — уже преступление. С большим трудом уговорил. Ночью обманул я румынского часового на пристани, спустил шлюпку на воду, сам сел на весла. Женщина легла на дно лодки и голову поднять боится, все ждала, что стрелять начнут. Ее муж держит ребенка, я грёбу, а мой пассажир только свысока на всех посматривает. То, что ночью, на шлюпке,— для меня нет проблемы. Только грести трудно. По-хорошему тут, на веслах, четверым надо сидеть, да и шестерым можно. А я один. Предлагаю своему пассажиру с баржи — помощи, мол. А он не может. Не знает, с какой стороны за весло браться.

— Что же,— говорю,— ты умеешь?

— Ничего не умею,— отвечает,— я агроном.

Устал изрядно, чувствую, что уже на последних оборотах... И вдруг из тьмы:

— Стой, стрелять буду!

— Погоди,— кричу,— успеешь выстрелить! Мы перебежчики, из Очакова.

Тут же, на берегу, нас арестовали, отвели в штаб части, а оттуда передали в «Смерш». Моего попутчика с женой и ребенком сразу отпустили. Он белобилетчиком оказался, ни к какой службе непригодный. Меня с моим пассажиром разлучили и повезли в Херсон.

Город только накануне освободили от фашистов. В военкомат пришел в сопровождении товарища из контрразведки, у него еще были сомнения насчет меня... Военком же повел себя более решительно. Узнав, кто я и что я, тут же назначил старшим команды.

Отступая, гитлеровцы разрушали железнодорожное полотно. От Херсона до ближайшей действующей станции надо было трое суток добираться пешком. Военкомат формировал в освобожденных районах команды новобранцев и тут же отправлял на пополнение наступающих частей. Мне дали списки человек на двести новобранцев, дали помощника, вроде комиссара, и приказали вести всю команду на станцию.

Отошли мы немного от военкомата, выстроил я людей... Они еще не обмундированы, только сухой паек на три дня получили. Сделал переключку, и... страшно мне стало. Кругом весна, грязь, бездорожье. Кругом разруха. А всех переправочных средств у меня, как и у каждого, только две ноги. Как же идти в трехсуточный поход такой оравой? Тут меня хорошие люди надоумили.

— Вот что,— говорю,— братишки. Топайте каждый сам по себе. А через три дня на станции переключка. Кого не окажется в наличии — значит, дезертир, со всеми, так сказать, последствиями и выводами. Р-разойдись!

Двинули они прежде всего по ближайшим селам: кто с мамой проститься, кто с невестой. А мы с комиссаром — пешком на станцию. В каком-то селе ночевали. К полудню третьего дня пришли. Смотрим — человек десять наших всего тут. Переживаю: растерял команду... Потом по двое, по трое стали подходить еще. Вечером построил, сделал переключку — все! До единого человека пришли в срок! А тут уже и вагоны подали, появились представители частей. И повезли нас в Белоруссию.

Прибыли ночью. Кинули нас на пополнение наступающей дивизии — 96-й стрелковой, гвардейской. Комбат построил всех, разделил на большие группы, командует:

— Старослужащие, два шага вперед!

Человек пять нашлось таких в нашей группе. Я тоже, конечно, вышел. Комбат спрашивает, кто кем служил. Меня тут же назначил командиром взвода. Дорогой нас обмундировали, у меня были погоны рядового.

— Ничего,— говорит,— воюют не погонями. Командиры отделений списки бойцов составляют, а ты иди на рекогносцировку.

Вышел я с офицерами к переднему краю обороны. Ночь, темно, на фоне неба у горизонта видны крылья мельницы.

— На рассвете,— говорит мне командир роты (это был Гена Дубенков, мы потом с ним дружили),— твой взвод будет наступать на эту мельницу. Там деревушка возле нее. Поднимаю людей сразу после артподготовки.

Вот так и наступал, еще не зная, кого веду за собой. Артналет был недолгим, минут двадцать, но били плотно, а в конце даже «катюши» сыграли. Мы сразу «Ура!» — и через поле. Справа и слева от нас тоже наступают. Мельница горит. Ворвались в траншею, а потом вышибли немцев из деревушки. Меня начальство похвалило. Стал я со своим взводом знакомиться...

Вскоре назначили меня командиром взвода разведки полка. Я ведь оставался рядовым, а там людей поменьше, хотя, конечно, каждый пятерых стоит. Наш 293-й гвардейский стрелковый полк был тогда в Пинских болотах. Справа и слева наши соседи видят передний край врага, а перед нами никого, непроходимые топи, да вдоль них жиденькая линия траншей. И вызывает меня командир полка, Александр Андреевич Свиридов (сейчас генерал-лейтенант, Герой Советского Союза). Он любил, минуя другие инстанции, сразу выходить на исполнителя:

— Дубинда, надо добыть «языка».

Я, конечно, понимаю, что сам «язык» — дело десятое, а вот как на ту сторону перебраться, не идти же на соседний участок фронта! Стал я со своими разведчиками лезть по болоту. Вымокли, вымазались, как черти, наглotalись ржавой воды. Уже и счет потеряли, сколько раз друг друга чуть ли не за вихры вытаскивали. Нет хода! Сверху и травка, и кочки, а ступить невозможно. Пробовал ползти — ладошки проваливаются, и носом в жижу тычешься. Тогда лег я и перекатом, как чурбак, покатился. Вода и в уши и в нос попадает, но не проваливаешься! Докатился до островка, поросшего ольхой, посидел — и опять перекатом до следующего. Ребята за мной. А там уже кочки пошли подтвердить, островки почаще... Перебрались, отсиделись до темноты в кустах, а ночью вышли к вражеским позициям. Видим, на сухом бугре, неподалеку один от другого, — четыре блиндажа. Часовой ходит между ними. Во взводе у меня был разведчик по кличке Шлема — бесшабашный и озорной парень. Я ему приказываю:

— Пора сменить часового.

Он все понял и пополз. А часовой то ближе к нам подойдет, то за блиндаж уйдет. Потом появляется... несколько расплывший. Это уже Шлема в его каске и плащ-палатке, с винтовкой на плече расхаживает, знаки нам подает. Подбежали, я расставил ребят возле каждого блиндажа, чтобы кто случайно не вышел, а сам в один из них распахиваю двери: автомат наготове, в левой руке граната. Там сидел офицер и пил в одиночку. Схватился он за оружие, но поздно.

Тут главная трудность, нан нам его тащить через болото. Мешок на голову не накинешь, иляп в рот не забьешь — на болоте опасно, разон маннешь его, и уже труп, а не «язык». Он тоже опасность понимает, помалкивает. Отыскали большую ветку. К ветвям потоньше привязали пленного за руки и за ноги и комлем вперед потащили... Там, где сами преодолевали болото перекатом, ветку с немцем за веревку перетаскивали.

Сдали мы пленного, сидим пьем чай, сушимся, отмываемся от болотной грязи. Надо же — меня вызывает командир полка.

— Ты что это напутал, Дубинда? Я по вашим следам послал... Батальон тонет! Немедленно уточни место прохода!

Прихожу, а в болоте солдатики копошатся, друг друга вытаскивают. Разозлился. «Что же,— говорю,— вы дорогу портите? Размеси-ли тут все... Ведь объяснял: перекатом. Са-

мым натуральным образом — боком натись!» Отошел в сторонку, где поверхность еще не расквашена, и покатился. Солдаты за мной. А комбат уже не отпускает: веди до конца. Деваться некуда. Вывел весь батальон и четверем блиндажам. Там оказались раненые немцы — это уже было известно от пленного. Нашего прохода в этом месте противник не ожидал, поэтому батальон успешно пошел вперед, облегчая задачу наступающим нашим соседям.

Странное дело: вспоминаются чаще всего удачные, хитроумно проведенные операции. А ведь были и тяжелые. Правда, мне в них везло. Помню, в одном из боев несколько разрывных пуль начисто испортили мой полушубок. Ключья шерсть торчала на плече, под мышкой, почти оторвало полу, а меня самого даже не задело. Цели того боя, обстоятельства, результаты — ничего не помню! Вот полушубок было жалко — отлично запомнилось.

Тяжелые бои шли под Варшавой. Стояли мы перед Бугом. Вызывает командир полка: «Дубинда, надо отыскать брод через Буг для возможной переправы пехоты!» Что в таких случаях? «Слушаюсь!» Взял своих ребят, и давай мы в холодной воде купаться. Я сам речник, лазаю днём вдоль берега, определяю, где может быть помельче, а ночью идем к тем местам, которые высмотрел, и начинаю:

— Просолов, давай ты!

Раздевается мой Саша Просолов, при «плюс трех градусах жары» лезет в воду, идет к тому берегу и... буль-буль! Плышет обратно. Глубоко. (Кстати, А. П. Просолов и сейчас живет в Николаеве, приезжал ко мне в гости.)

В другом месте:

— Яцкевич, ты!

Лезет Коля Яцкевич. За ним — Соколов... А брода все нет. Ночь купаемся — Мацеста! Вторую купаемся... и на рассвете ловим поляка — перебежчика с той стороны! Он нам что-то говорит, захлебываясь, о своем горе. По отдельным словам понимаю, что дочку его гитлеровцы обидели, но (жестокая правда войны!) нас другое интересует: где он речку перебрел? Он, бедолага, все интересуется, отомстят ли пань русские за его дочь. А я ему: за тем, мол, и пришли. Ты брод покажи!

Показал. Я с ребятами сам несколько раз туда-сюда прошел, вода по грудь, не больше. Определили ширину брода, насыпали на берегу едва заметные бугорки — для приметы. Но командир полка, не желая, очевидно, повторять опыт Пинских болот, говорит мне: — Первую роту на прорыв поведешь ты сам.

Пришел я в роту. Заняли мы исходные позиции недалеко от брода. Наш берег пологий, а там повыше, по нему траншеи, за ними — поле и вдали деревушка просматривается. Между нею и крутым бережком все гладко, как на столе... Время начала наступления нам не сообщили. Всю ночь просидели мы на исходных позициях, не смыкая глаз. И только утром, когда уже было светло, заговорила наша артиллерия. Молотила хорошо. Тем, кто на той стороне, не позавидуешь... Едва наши перенесли огонь чуть дальше, я вскочил: «За Родину! За Сталина!» — и прыгнул в воду. Добежал уже до середины реки, оглянулся — а за мною всего несколько душ. Потом пересчитали — семь человек побежали за мной, я восьмой. Остальные не сразу решились. Забоялись ребята, как чувствовали, что этот бой для них последний. А ведь мог и не быть последним.

Я такие ситуации знаю: пан или пропал. Жму вперед. На нашем берегу комсорг роты, наконец, поднял людей. Но получилось отставание. Над головами бьет с берега пулемет. А по нему — наши из пушки. Слабая, думаю, была пушочка. Может, сорокапятка... Обслугу разметала, а пулемет цел.

Мы ворвались в немецкую траншею, полузасыпанную, гранатами и автоматными очередями расчищаем ее, гитлеровцы дрогнули, а комсорг с остальными только на середине реки. И тут летят немецкие снаряды — все в речку. Вода начинает кипеть и становится розовой. И ни один из ребят не выходит к нам. У немцев это место было заранее пристрелено, они-то знали, что тут единственный брод на многокилометровом участке. Били точно...

Окончание следует.



ОГОНЁК

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА», МОСКВА № 40 СЕНТЯБРЬ 1984



ПОЧТИ ЖИЗНЬ ТОМУ НАЗАД...

Павел ДУБИНДА,
Герой Советского Союза,
полный кавалер ордена Славы

Мы сидим в траншее на высоком берегу, захватили вражеский пулемет, много патронов к нему, да и у самих боезапас нестраченый. Когда гитлеровцы очухались, пошли в наступление на нас со стороны деревеньки. Наверняка не думали, что тут всего восемь человек. Мы первую атаку отбили, минометчики с нашего берега помогли — им все поле между деревенькой и нами хорошо было видеть. После этого снова с нашей стороны кинулись солдаты вброд. Дружно кинулись, большими силами. И немедленно прилетели вражеские снаряды, как сетью, накрыли всю речку, запенилась вода. Были солдаты — и нету солдат. Которые вошли в речку, все там и остались.

А против нас гитлеровцы двинули шесть танков. Вышли они из деревеньки и на полной скорости прут к берегу. Тут уж, видно, крепко осерчали наши артиллеристы — открыли такой огонь, что за несколько минут пожгли эти танки, не дошли они до захваченной нами траншеи.

Тяжело это рассказывать. Три дня никто не мог к нам прорваться через брод. Сколько там ребят полегло — и все на наших глазах. Гитлеровцы, должно быть, поняли, что в траншее нас немного. Пустили два танка — один по ложинке, другой вдоль берега. Один наши артиллеристы сожгли, а другой прорвался. У меня даже противотанковых гранат не было. Прет это чудовище на траншею, вот сейчас одной гусеницей пройдет и никого не останется, как от тех, кто в речке.

У кого-то из ребят оказалась единственная бутылка с горючей смесью. Я ее схватил, выпрыгнул из траншеи и скатился в такое блюдце на прибрежном откосе — ямку, заросшую осокой. А танк уже рядом, обдал меня выхлопом и уходит... на ребят. Тут я подхватился и по моторной группе бутылкой. Стекло вдребезги, черный дым... И с таким тяжелым выдохом как пыхнет! Стали выскакивать из него танкисты, бегут мимо, а у меня даже пистолета нет, автомат в траншее оставил.

Три дня так продержались, на четвертый в ночь прорвались к нам человек двадцать во главе с лейтенантом. С ними девушка-телефонистка. Все из чужого полка. Наших, оказывается, еще вчера сняли, перебросили южнее, а сюда другая часть вышла. Лейтенант сразу говорит: «Будем атаковать деревеньку. Ты тут давно сидишь, расскажи моим, что к чему...» Пошел я по траншее. И вдруг бежит телефонистка: «Товарищ старший! (Погоны на мне солдатские, она не знает, как и обратиться.) Товарищ старший, лейтенанта убило!»

Вот те на! Я тут трое суток, а он и пяти минут не побыл. Подхожу — мертв уже лейтенант. Телефон затрещал, девушка протягивает мне трубку. Какой-то полковник с той стороны командует: «Бери пришедших и своих — чтобы через час был в деревеньке». Зло меня взяло. «Явился не запыхавшись», — думаю. Отвечаю, что людей тут нету и трех десятков — не получится атака. «Застрелю!» — кричит в трубку. Я ему в том же духе: «А ты сюда приходи, тогда застрелишь!»

Слышу, бушует он там. «Я, — говорит, — постараюсь прийти... а сейчас отвечай, деревеньку видишь из траншеи?» Оно хоть и ночь, но силуэты видны вдали. «Смотри, — кричит он в трубку, — куда снаряд упадет!» Вижу, пролетел над нами снаряд и шлепнулся далеко за деревней. «Перелет», — говорю. Летит и па-

дает второй. «Теперь, — говорю в трубку, — надо брать левее». Наконец, положили они один снаряд точно на деревеньку. «Стоп! — кричу. — В точку попали». Тогда они такой огонь открыли, что размели деревеньку и все, что там было, как гороховые фигурки. Этот злой полковник понял, должно быть, что огонь по броду вели оттуда да и корректировщик или наблюдатель вражеский там где-то сидел.

После такого артналета мы, конечно, «Ура!» — и вперед. Захватили деревушку. День пробыли в ней, а ночью нас немцы выбили... Лишь в конце четвертых суток началось наступление и деревушку заняли прочно, на эту сторону прорвались наши части. С тем полковником встретиться не пришлось. Из штаба нашего полка прислали парня, и он увез меня и тех ребят, что первыми прошли по броду.

Вскоре после этого боя мне вручили орден на Славы сразу третьей и второй степени. Представляли к наградам давно, на третью раньше, на вторую позже, но где-то по пути от фронта до Москвы награжденные бумаги встретились, или в Москве до фронта встретились коробочки с моими орденами. Надел я их — приятно, конечно. С неделю поносил — привык. А в первом же бою потерял. Застежки были неважные. И, если честно признаться, не очень сожалел о потере, не до того было.

Я, сизать по правде, уже тогда не помнил, за какой бой, за какое дело наградили одним, за какое — другим. Сколько их после того было! Каждый новый бой, каждый поход за линию фронта заслонял собой старые события. Полковник разведка, да еще в таком огромном наступлении, не оставалась без дела. И случилось, с таким трудом добудешь «языка», а он окажется всего лишь бесполом извозным. В другой же раз без особых хлопот приволочешь штабиста. Ведь тащишь — и в прямом и в переносном смысле — кот в мешке! Однажды мы пошли за «языком», а привели с той стороны... тридцать немцев во главе с офицерами. Начальство расценило это как подвиг, а нам просто повезло: немцы сами подумывали о том, чтобы сложить оружие, но не знали, как это сделать. Появление десятка разведчиков лишь помогло им осуществить свой план.

Побывал я и в офицерском звании. Но, правда, недолго.

VIII

...Весной сорок пятого, в Восточной Пруссии, мой взвод полковой разведки получил одну из редких передышек. Начало марта, первое солнышко... Расположились мы на опушке — блаженствуем. Одни байки травят, другие дремлют, чуть ли не мурлыча от удовольствия.

Смотрю — глазам не верю: идет свита во главе с генерал-полковником! Не к нам идут, но рядом. Наш командир полка в этой свите почти младший. Куда деваться? Командую: «Встать! Смирно!» Подбегаю и рапортую: «Товарищ генерал-полковник! Взвод разведки 293-го гвардейского стрелкового полка занят изучением трофейного пулемета. Командир взвода гвардии рядовой Дубинда.»

Он посмотрел на меня, на моих «орлов», молча повернулся к нашему командиру дивизии и спросил:

— Если бы ты был рядовым, тебя в дивизии кто-нибудь слушался бы?

Комдив промолчал, а что он мог, если ответ уже содержался в самом вопросе... На следующий день меня вызвали в штаб и выдали погоны младшего лейтенанта, а маме выслали аттестат на восемьсот рублей.

На свое последнее боевое задание я шел уже офицером. А дело было так. Фронт на какое-то время стабилизировался. Но когда из нашего тыла к переднему краю подходили значительные цели: танки, артиллерия или войсковые подразделения, — по ним с той стороны открывали бешеный обстрел тяжелые минометы. Наши артиллеристы пытались определить, откуда бьют, но ничего не получалось. Вот вроде бы засекали, откуда летят мины, выпускают по тому месту десятки снарядов. Все. По расчетам, живого места от вражеских позиций не осталось. Но появляется на нашей стороне значительная цель — и снова бешеный налет, да стреляют точно... Терроризировали они наш передний край. Уже и самолеты-разведчики летали, все высматривали, где же их минометные позиции, ничего не нашли. Как из-под земли бьют.

Послали меня с ребятами искать этих призраков, а если они даже под землей — все равно найти и дать точные координаты. Примерно все мы знали, что расположены они где-то неподалеку от озера — было такое за передней линией вражеской обороны. Перешли мы линию фронта в верховьях этого озера, через болота. Погодку выбрали похуже, с дождем и ветром. А дальше, уже по вражеским тылам, брели с большой опаской. Если они так хорошо спрятались, то кто кого первым обнаружит: мы их или они нас? Еще был план, что, если ночью не отыщем, останемся на день, спрячемся у озера и попытаемся обнаружить, когда они начнут стрелять.

Только прибегать к этому плану не пришлось. Началась стрельба, и мы увидели вспышки на самом озере. Мины вылетали и уходили на нашу сторону прямо с водной глади! Немцы придумали такую хитрость: поставили на озере плоты, притопили их, чтобы вода покрывала бревна полностью, сделали с берега к ним трапы и тоже на несколько сантиметров ниже уровня воды. Пройти по ним в сапогах легко, а сверху, даже с самолета, ничего не видно. Минометы расставили на плотках так, чтобы они оказались под деревьями. Опорные плиты притоплены, а стволы, как пенки на отмели, у берега, заросшего раютами. Не подкупаешься. Наши тут снарядами все балочки вокруг озера перерыли-перепахали, а в воду стрелять никому и в голову не пришло!

Мы эту загадку разгадали, увидели траншею, что вела от самого берега под деревнями, и вход в блиндаж... Обрадовались и пошли обратно. По дороге встретили пароконную подводку с фуражиром и фельдфебелем — продукты в часть везли. Мы, конечно, сопровождавших уничтожили, хорошо поужинали и на радостях как-то расслабились. Идем довольные, гордость нас распирает: такой секрет бы ведали! И так от невинимости сбился с пути. Все же дело было ночью и в чужом тылу, на чужой земле. Натыкаемся в траншеи, которых с вечера вроде бы не было. А ходило нас тогда девять человек.

Один из моих разведчиков вдоль траншеи топает с автоматом наготове: может, где ниша или ход в укрытие — чтобы не прозевать. Слышу: тихо свистит. Я — к нему. Показывает, что траншея заманчивается низенькой дверцей — входом в блиндаж. Спрыгиваю вниз, пригибаюсь возле двери, прислушиваюсь. Тихо. И свет не горит внутри. Приоткрыл дверь. А у меня в одной руке автомат, а в другой граната — все наготове.

— Никого нет, — сообщая ребятам.

Поворачиваюсь, и тут меня кто-то сбивает с ног. Боли не почувствовал, только сильный толчок. Уже падая, швырнул в блиндаж гранату. Взрыв! Ребята попадали в траншею, ворвались в блиндаж, а там двое, но граната их уже распотрошила... Оказывается, они затаились, и когда я повернулся, чтобы уйти, один не удержался, выстрелил. Пуля вошла сзади чуть выше подколенной выемки и наискосок сделала дырку через все бедро.

Подхватили меня разведчики на плащ-палатку — и давай бог ноги, поскорее прорваться через линию фронта, к своим. Тяжело выносили меня ребята оттуда, с той стороны. Но вынесли. Получив от нас сведения, артиллеристы уже поработали... Они из этого озера сделали уху — вместе с минометами и минометчиками.

Мое ранение оказалось серьезным. Провалился я по госпиталям несколько месяцев, был такой период, когда не знал: на двух ногах выйду, на одной и выйду ли вообще из палаты? Самый, пожалуй, кризис был, когда все праздновали Победу. Меня эта радость обошла, а потом достигла уже задним числом. Вместе с нею и горечь: узнал, что два моих брата погибли на фронте. Кто имел старшего брата, тот поймет такую потерю...

В конце июня 1945 года, когда я лежал в госпитале в Москве, недалеко от Арбатской площади, когда уже мои дела определенно пошли к лучшему и я шкандыбал (но на своих!) по палате, ко мне с цветами и поздравлениями пришли сестры, врач, даже какое-то

начальство отделения. Оказывается, вышел Указ о присвоении мне звания Героя Советского Союза.

В госпитале у меня никаких наград не было. Два ордена Славы потерял в первом же бою, другие, как говорится, уже выписанные и пронумерованные, еще разыскивали меня. А тут сразу Звезда Героя! Зауважали меня, даже определили в двухместную палату. Но поскольку там вторая койка оставалась пустой — скучновато мне стало, хоть просись обратно в общую, где уже с ребятами перезнакомился. Возможно, что и попросился бы, но тут привозят мне соседа — на колясочке, в сопровождении целой свиты. Он ругается, говорит, что покалечить человека и дурак может, а медики должны лечить и что ноги ему еще нужны...

Его успокаивают, вежливо так, обещают пригласить профессора, самое главное светило в этом деле. И правда, вскоре, не то к вечеру, не то на следующий день, появляется у нас в палате старичок. Неважненький. На вид, конечно. А специалист, может быть, он хороший. Стал уговаривать моего соседа, просил успокоиться и по части ног обнадежил... Действительно, после операции соседу стало лучше, и ноги у него не отняли. Потом мы познакомились, стало мне казаться, что я где-то видел этого человека. Он, должно быть, почувствовал такой вопрос в моем взгляде... Слово за слово, лежим же в одной палате, и вскоре сосед знал про меня почти все, а я о нем ничего. Когда я вспомнил, как сидел в симферопольском лагере, где площадка была размечена на квадраты, он засмеялся.

— Помнишь, — говорит, — немецкого офицера, который искал знатоков местности под Новороссийском?

Тут я понял, что это он и есть! Сколько лет с тех пор прошло, почти целая жизнь, а мне до сих пор наша встреча в госпитале кажется невероятной. Мой сосед по палате оказался советским разведчиком, а в госпиталь он попал потому, что неудачно приземлился, когда прыгал с парашютом, поломал обе ноги и долгое время оставался без медицинской помощи... Он мне многое потом объяснил, многое рассказал. В общем, я не из боязливых, но на его месте, в его шкуре, думаю, что не смог бы.

Осенью я демобилизовался и приехал домой. Устроился помощником капитана на один катерок... Нога у меня не сгибалась еще. А время было... Тяжелое — не то слово. Простое куска хлеба не хватало. Голодали многие. Раздетые, разоренные... И я не каждый день был сыт — это если говорить честно. В сорок шестом вызывают в военкомат и вручают орден Богдана Хмельницкого III степени и орден Славы первой степени. Военком замечает:

— Первая степень «Славы» без третьей и второй не выдается. Где они у тебя?

— Потерял, — говорю.

Военком написал в архив, пришла бумажка, подтверждающая, когда и за что меня наградили орденами Славы. Но и это не все. Пришлось еще писать командиру моего полка, чтобы он дал свое подтверждение. В конце концов прислали мне утверченные в Восточной Пруссии ордена и... под теми же номерами. И еще военком разбирался с моим званием. Я ведь какое-то время носил погоны младшего лейтенанта. Спрашивает он, какое у меня военное образование, какие курсы или хотя бы сборы кончал. Никаких. Думал он, думал... Ты, говорит, был старшиной катера на флоте, вот тебе и запишем в военный билет — старшина. Так меня и вывели из офицеров.

Собрал я свои награды, сложил их в коробочку и пошел наниматься на новую работу. Был тут в районе совхоз от организации «Каракульэкспорт», имел свою парусно-моторную посудину — чуть побольше дубка «Друг-братец», которым владел когда-то мой отец. Стал я на этой посудине шкипером. Не скажу, что особенно увлекала такая работа, зато в совхозе, кроме хлеба по карточкам, можно было иногда купить килограмм крупы или какого-нибудь жиру. А это значило больше чем зарплата.

Вспомнился мне этот совхоз потому, что в нем произошла еще одна встреча... Правда, не такая фантастическая, как в госпитале, и, конечно, менее приятная.

Сижу в кабинете директора — по делам зашел. Появляется франт — в кожаном реглане, шалевый каракулевый воротник, такая же папаха, все на нем скрипит и благоухает. Отдает он директору совхоза свои указания и вдруг обращается ко мне:

— Семенкин-Дубинда?

— Он самый, — отвечаю с удивлением.

— Это же, — говорит, — ты со мной бежал от немцев из Очакова? По ночному морю на шлюпке?

Теперь я узнал в нем агронома, который не умел за весло держаться. А он еще что-то сказал директору и вышел. Даже не оглянулся.

— Откуда ты его знаешь? — спрашивает директор.

Я рассказал. Директор покачал головой.

— Он теперь большой начальник. После того, как ты его на своем горбу, можно сказать, вывез из плена, мог бы и поинтересоваться, не надо ли тебе чем помочь... Ну, хоть бы спросил, как ты, что ты? — не мог успокоиться директор совхоза. — По виду можно понять, что ты не процветаешь.

Мне, конечно, ничего от него не было нужно, разве что посидеть, поговорить... ведь такой рискованный путь проделали вместе! Я его, этого агронома, через несколько лет снова встречал. Прогорел он на высокой должности, снова стал таким несчастным, даже просил у меня кое-какого содействия. Только теперь уж я его к себе на борт, фигурально выражаясь, не взял.

В 1955 году я стал работать боцманом на китобойце из флотилии «Слава». Должность эта хлопотная, вся хозяйственная часть судна на тебе, весь порядок — тоже. А каждый рейс продолжался около восьми месяцев. Весь мир обойдем, в Австралию побываем, в Южной Америке, нахлебавшись холодной воды в Антарктике, пока придет долгожданный момент: задание выполнено, сезон закончен, курс — к родным берегам.

Во время промысла, кроме прочих обязанностей, у боцмана китобойца была еще одна: сидеть в бочке на мачте и высматривать китов. Два часа дежуришь — четыре другой работой занимаешься. А в бочке, на мачте, когда судно болтает так, что оно чуть ли не набок ложится, сидеть неудобно. И ветер минусовой температуры и мокрый. Чувствуешь себя, как горошина в свистке, которую вот-вот выдует. В первом рейсе у нас еще были комбинезоны на гагачьем пуху. Они быстро изнасились. Потом появились комбинезоны с электроподогревом... Качнуло вправо — есть контакт — включился, понесло тебя вместе с бочкой влево, того и гляди об воду шлепнет, — нет контакта. А когда в бочку несколько раз влезешь, комбинезон уже во многих местах рваный. Не поймаешь — греет он тебя или током щиплет. Отказались от них. Поняли: нет ничего удобнее, чем сидеть в бочке в обычной стеганой ватной фуфайке. А что холодно, так это дело привычки.

Шторм семь-восемь баллов, норвежцы не промышляют, японцы тоже, а мы охотимся. Самое трудное дело в такую погоду — поднять кита на палубу. Он уже к борту ошвартован, лебедки настроены, ловим момент, когда судно в его сторону накренится... В это время все на палубе. И вот нужный момент — и все по пояс, а то и по шею в ледяной воде. И так несколько раз за день.

Многие города и страны повидать привелось: Кейптаун и Монтевидео, Рио-де-Жанейро, Мельбурн... В Веллингтоне, в Новой Зеландии, мы вообще были первыми советскими моряками, посетившими этот порт. В конце 50-х годов во многих далеких странах люди смотрели на нас как на пришельцев с другой планеты. «Холодная война» была в самом разгаре, местные газеты писали про нас и про нашу страну такое, что сам барон Мюнхгаузен не придумал бы. А мы одним своим появлением разрушали многие неправильные представления. Уже одно то, что мы, советские, такие же люди, поразило. Не голые и не босые, умеем улыбаться, довольны собой и друг другом... На нас смотрели так, как будто получили возможность своими глазами прочитать страшно засекреченный документ. Если к тому же узнавали, что кто-то из нас

коммунист, его чуть ли не ощупывали. Оглядываясь на те годы, скажу с уверенностью, что мы достойно представляли нашу Советскую Родину.

Весь мир повидал я, со всеми флагами встречался, есть у меня материал для сравнений... Мы добры и терпимы. Порою даже излишне терпимы. Помню, каким бедствием для боцмана был каждый проход по Суэцкому каналу — я говорю о тех, 50-х годах. Кроме лоцмана и других чиновников, нам давали на борт еще и местную аварийную команду. Вроде бы, если что случится, эта команда вручную оттащит судно в сторону, чтобы не мешать движению по каналу. Глупость, как я считаю, просто лишняя статья, по которой с проходящего судна можно содрать хорошие деньги.

И вот садится на борт босоногая орава, которая в пять минут способна разговорать все, что плохо лежит. Тут уж команда с палубы не уходи. Вызывающий у тебя сострадание полуголый «товарищ» смотрит тебе в глаза, улыбается, а сам в это время босой пяткой медную пробку, которой закрыто сливное отверстие, из палубы вывинчивает...

Стоим в Бейруте. Заказали на берегу печеный хлеб, пополняем запас воды, продуктов... Подъезжает проныра посредник на мотофургончике. Сам, значит, верхом на мотоцикле, а позади — изювовик на двух колесах. Хлеб привез — длинные батончики. Поцупал я один из них, а он как дерево, недели две назад испечен. Куда деваться? Деньги уже уплачены. Сгрузили...

Рядом стоит англичанин, борт к борту с нами. Вскоре и ему хлеб привозят — этот же самый посредник. Выходит повар в белом чепце, из открытой двери фургончика достает батон, пробует придавить его пальцем. А он такой же, как и у нас. Тогда повар берет батон в правую руку как палку и давай им бить по щенам этого жулика, посредника. Тот же и увернуться не пытается. Поработав как следует, повар бросил батон обратно в фургон и удалился. А посредник с распухшим лицом вскакивает в седло и — фр-р-р! — исчезает. Минут через пятнадцать возвращается и бежит к повару. Трт берет батон, легко сжимает его, а аромат и к нам на палубу доносится... Тогда кивает — сгружай, мол.

Подобных случаев можно вспомнить немало. Конечно, я не за то, чтобы поступать так, как сделал английский повар. Тут у них, можно сказать, большой колониальный опыт. Но и мои собственные действия вряд ли можно одобрить. Я поставил себе вопрос так: вот этот делегата посредник сравнил меня с англичанином?

Десять лет ходил я на китовый промысел, пока позволяло здоровье. Потом перешел на пенсию. Мое прошлое не дает мне скучать: пишут друзья, иногда мы встречаемся... Приглашают выступать перед молодежью. Вот уже нынешней весной бригада Ивана Чернобая с Херсонского комбайнового завода ввела меня в свой состав почетным резчиком металла. Должность вроде почетная, но зарплату начисляют до трехсот рублей в месяц и переводят в Фонд мира.

Не обходят меня и общественные заботы родного села. Я тут и живу постоянно — в глинобитной хате, под камышовой крышей. Считаю, что для большого человека это самые хорошие условия. Прямо напротив моей калитки причал. Возжусь в саду, несколько раз в день вижу, кто приехал, кто уезжает. Есть у меня и свои лодки, только все труднее рыбачить. Чаше обходимся тем, что жена моя, Валентина Аркадьевна, выйдет на причал, постоит часок с удочкой, худо-бедно пару килограммов поймает. А нам на двоих больше и не надо.

Есть у нас квартира и в Херсоне. Нормальная городская квартира, только перебираемся мы туда уже на зиму, к батареям парового отопления. А в марте — снова в село: надо ухаживать за садом, виноградником, и дышать хочется простором. Жизнь мне послабления не дает. Вот уже сколько лет я начинаю каждый свой день с того, что делаю себе два укола, и то же самое перед сном. Не хочу, чтобы кто-то чужой видел мою немощность...

Нынешним летом мне исполнилось семьдесят. Оглядываясь, должен сказать, что судьба меня не обидела: ведь сколько ребят осталось в Севастополе, на полях Белоруссии, Польши, тех ребят, которые шли рядом со мной. Не остался я безвестным для Родины, а наше село Прогной по праву получило новое имя — Геройское. В этом новом — и навсегда! — имени хоть одна буква, но моя!